

вечерний
детектив

Елена ДОРОШ



СЛЕЗА ЕВЫ

Где закончится путь последнего письма поэта той,
которую он боготворил всю жизнь?

Вечерний детектив Елены Дорош

Елена Дорош

Слеза Евы

«ЭКСМО»

2023

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Дорош Е.

Слеза Евы / Е. Дорош — «Эксмо», 2023 — (Вечерний детектив
Елены Дорош)

ISBN 978-5-04-181549-3

Разбирая старый архив, профессор Бартенев и его помощница Глафира Вознесенская наткнулись на странное письмо. Как оказалось, оно связано с судьбами известных персон, живших два столетия назад. А еще в конверте обнаружилась женская серьга. Поиски ее хозяйки привели к удивительным открытиям и... привлекли внимание преступников. Ведь раритеты стоят дорого. Очень дорого... Где закончится путь последнего письма поэта той, которую он боготворил всю жизнь? Елена Дорош пишет для тех, кто не впадает в уныние, не боится испытаний и ждет от жизни только хорошее. Ее книги — не просто детективы. Они не только о любви. Каждая открывает увлекательную, порой малоизвестную сторону человеческого бытия.

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-181549-3

© Дорош Е., 2023
© Эксмо, 2023

Содержание

Белая ночь	6
Тетя Мотя	8
Глафира	11
Соседушки	15
Профессор Бартенев	18
Карьерный рост	21
Архив Лонгинова	24
Письмо	26
Ева	29
Версии	33
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Елена Дорош

Слеза Евы

Редактор серии А. Антонова

Оформление серии С. Курбатова

© Дорош Е., 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

* * *



вечерний детектив

Белая ночь



Время близилось к полуночи. По крайней мере, так ему казалось. Двери давно заперты, но он знает, как вернуться незамеченным. Не впервой ему убегать среди ночи и шататься по парку с товарищами, а в последнее время все чаще одному.

Небо светлело, но под тенью огромных деревьев было сумрачно. Хорошо, что дорожки прямые и никуда не виляют. Впрочем, он знал парк наизусть. К тому же видел в темноте, как кошка.

Ветер шумел в верхушках, но здесь, внизу, было так тихо, что он явственно слышал собственные шаги.

Он шел неторопливо и вдруг, уже почти дойдя до пруда, услышал голоса. Они звучали негромко, приглушенно. Нежные женские голоса.

Кому-то не спится белой ночью так же, как ему.

Он свернул с дорожки и стал пробираться к берегу. Водная гладь была девственно спокойна, а голоса доносились из беседки. С одной стороны к ней вплотную примыкали кусты, там можно спрятаться и подсмотреть.

Он проворно шмыгнул в заросли, обогнул строение и осторожно, очень стараясь не шуметь, прокрался к беседке. Вылезать было опасно: при таком освещении легко быть обнаруженным, поэтому он привстал на цыпочки и вытянул шею.

Их было пять. Женщины болтали и смеялись переливистыми голосами, а он изо всех сил пытался разглядеть, кто эти ночные наяды. Ему почудилось, что он узнал один из голосов. Неужели она?

Он переступил с ноги на ногу, наклонился и вытянулся в ниточку. Ах, если бы присесть прямо под балюстрадой! Тогда все было бы видно просто отлично!

Покусав губу, он немного подумал, а потом опустил на четвереньки и пополз под низко свисающими ветками. Худенький, ловкий, он двигался довольно быстро, и впереди уже показались фигурные столбики, обрамлявшие беседку.

Вдохновленный успехом, он решил сделать последний рывок и тут же наступил на сухой сучок.

Сучок предательски треснул.

Словно выстрел грохнул.

Раздался дружный визг.

От неожиданности он присел и закрыл руками голову.

Из беседки стремглав выбежали испуганные нимфы и с топотом понеслись по аллее ко дворцу.

Мгновение, и все стихло. Он подождал немного, пытаясь унять бешено стучащее сердце, а потом вдруг рассмеялся, закрывая рот ладонью.

Ветер, будто вторя, потряс листву деревьев.

Уже не очень хоронясь, он зашел в беседку и присел на мраморную скамью. Ему было смешно. Крался, будто бенгальский тигр, а в конце оконфузился, как неуклюжий бегемот.

– Fou, – обругал он себя по-французски.

Интересно, она была среди наяд? Она любит купаться по ночам.

Возле левой ноги вдруг слабо блеснуло. Нагнувшись, он поднял с влажного мраморного настила что-то маленькое и развернулся к свету, чтобы рассмотреть получше.

На его ладони лежала сверкающая капля.

Неужели эта сережка выпала из ее нежного уха?

Он подумал и тут же вспомнил. Да! Он видел эти бриллиантовые серьги на ней тогда... Конечно! Он не мог ошибиться! Ее облик он мог нарисовать с закрытыми глазами! Ах ты, Боже мой! Само провидение привело его в эту беседку!

Он нежно погладил пальцем серьгу. Какая прозрачная...

Как слеза...

Тетя Мотя



Матрена была родом из глухого северного села. Даже не села – деревни. В селе всегда церковь есть, а от их деревни до ближайшего храма более десяти верст. Если пешком, так почти четыре часа ходко шагать по проселку.

Матреной ее назвали, потому что родилась двадцать второго ноября, как раз на преподобную Матрону Константинопольскую. На дворе стояла непогода, сыпал дождь со снегом, поэтому фельдшерица добраться до их дома не успела. В родах помогала деревенская повитуха. Хорошо, хоть такая нашлась, иначе тятеньке самому пришлось бы дитя принимать. Впрочем, Евсей Иванович справился бы. Он всегда со всем справлялся.

Матрена любила отца куда больше матери. Никому бы в этом не призналась, но при любой нужде за советом и помощью бежала к нему. Ласковый да понятливый. Матушка тоже была хорошая, но суровая. Если что, так и слушать не станет: враз подзатыльник отвесит, и побежишь, откуда пришел.

В школу Матрену отдали поздно, почти в восемь. Она и так росла девочкой крупной, а в классе вообще была всех старше и выше на голову, поэтому с первого дня ее стали дразнить тетей Мотей. Сначала она обижалась, плакала, а потом привыкла.

Так и осталась на всю жизнь тетей Мотей.

Школа была в селе. Чтобы не опоздать на урок, вставать приходилось вместе с матушкой, которая в четвертом часу утра отправлялась доить корову. До школы ее провожал тятенька, а зимой и встречал. Дорога ведь почти все время лесом шла. Волков в их местах не водилось, но медведи баловали. Весной посветлу она туда и обратно ходила сама. Привыкла наматывать километры.

Окончив школу, Матрена не в пример подружкам никуда не уехала, осталась помогать родителям, а для стажа устроилась в клуб секретарем к директору Михаилу Терентьевичу, своему крестному. Клуб построили в семидесятых. Вышел он огромным и помпезным, с четырьмя колоннами по фасаду. Народ в клуб ходил неохотно, все больше в храм. Только молодежь бегала в кино и на танцы, однако молодежи в их краях год от году становилось все меньше. Ставки в штатном расписании клуба все время сокращались, пока не остались директор, баянист, уборщица и секретарша. На это хлебное место крестный и пристроил Мотю.

На самом деле она была при клубе за всех. Крутила кино, включала на танцах магнитофон, готовила украшения на елку для малышей и была за Деда Мороза. Летом организовывала при клубе детский лагерь, чтобы родители могли спокойно ходить на работу, зимой с девоч-

ками вязала и пела народные песни, вроде как кружок фольклорный вела. Директор был доволен, потому что все это она делала за зарплату секретаря.

Ей было восемнадцать, когда приехали студенты строить новый коровник. Старый сгорел от короткого замыкания по весне.

У Моти случилась любовь с одним из них. Звали его Эдуард. Имя было необычное, звучное, гордое, да и парень ему под стать. Высокий и до невозможности красивый.

Пока студенты жили в деревне, в клубе всегда былолюдно и весело. Дискотеки – так на новый лад стали величать танцы – проводили чуть ли не каждый день. Деревенские парни девчонок к столичным не ревновали, так как их было раз, два и обчелся. Так, мелочь одна.

Мотя считалась девушкой видной, статной, вот только по росту ей никто из местных не подходил. А Эдуард подошел сразу. По всем статьям.

Осенью студенты уехали и вернуться не обещали.

А через месяц Мотя поняла, что беременна.

Три дня она просто ревела от страха, а потом пошла с повинной к тятеньке. Так, мол, и так, грешна по полной программе. Думала, теперь батюшка от нее отречется.

А Евсей Иванович взял да обрадовался. Он думал, что дочка старой девой останется. За кого тут замуж-то выходить? Конечно, можно в район податься, а то и в Санкт-Петербург, будь он неладен, но Мотя от них с матерью никуда не уедет, это он знал и с каждым годом все больше печалился о судьбе дочери.

И вот те здрасте! Не было ни гроша, да вдруг алтын! В семье прибавление, и все при своих интересах: Мотя при сыне, а он при внуке.

Почему-то Евсей не сомневался, что родится мальчик. Так оно и вышло. Назвали пацана Андреем, потому что появился он на свет аккурат в последний день мая, как раз на Андрея Лампсакского, мученика.

Мать, как узнала, что дочка собирается в подоле принести, чуть не преставилась. Кричала и бранилась месяц. Еле отошла. Грозилась, что к прелюбодейному отродью, вымеску несчастному даже не подойдет, не разговаривала с дочерью до самых родов, а как увидела младенца, аж зашлась. Сама попросила на руки взять и с той поры с рук не спускала.

Как при такой любви не вырасти Андрюше красивым да добрым?

В доме Андрей был на все руки, учился хорошо, в храм ходил с удовольствием, не то, что другие ребятишки, с людьми ладил, пользовался уважением стариков.

На него уж девушки стали заглядываться, приезжали в деревню, где он помогал матери в клубе, даже из соседних сел. Но парень был строгих правил. Сначала решил отслужить, а уж после о женитьбе думать.

И по осени ушел в армию.

Мотя быстро заскучала, да так, что хоть волком вой. Писал сын регулярно, но разве письмами тоску уймешь?

Через полгода тревога так замучила Мотю, что она собралась и поехала к сыну.

Все представляла, как он обрадуется, с аппетитом будет уплетать домашние гостинцы, а она наконец нацелуется крепких румяных щек сыночка, наглядится его темных кудрей.

Мотя добиралась до части без малого три дня, а когда доехала, узнала, что сутки назад ее Андрюша погиб, вытаскивая товарищей из горящей казармы. Других спас, а на самого балка упала и придавила.

Ей даже увидеть его не дали. Тело сильно обгорело, не на что, мол, смотреть.

В один миг Мотя ослепла и почти тронулась умом.

Через несколько дней, безумную и незрячую, ее нашли у ворот Спаса-Вознесенского женского монастыря.

Настоятельница матушка Анимаиса до ухода в монастырь работала врачом на «Скорой». Она осмотрела Мотю и велела оставить.

Через год Мотя снова стала видеть, однако прийти в себя никак не могла. Почти не говорила и ничего не объясняла. Имя свое вспомнила, и все. Анимаиса сказала, что надо набраться терпения. Господь милостив.

Мотю пристроили убирать монастырский двор, мести дорожки, прочищать канавку вдоль стен.

Там, в канавке, на третьем году своего пребывания в обители Мотя и нашла коробку с полуживым младенцем.

Девочке было от силы несколько дней. Пуповина была плохо перевязана и сильно кровоточила.

Мотя принесла ребенка матушке. Та сказала:

– Выходим.

И выходили.

Крестили малютку девятого мая на Глафиру Амасийскую, праведную деву, в приделе святого Андрея Первозванного в храме Вознесения Господня.

Девицу так и нарекли – Глафира Андреевна Вознесенская.

В этот день Мотя пришла в себя. Упав в ноги матушке настоятельнице, она слезно молила ее не отдавать девочку в Дом малютки, а оставить при монастыре.

Матушка Анимаиса была женщиной разумной и понимала, что по закону это почти невозможно, но, помолившись, пошла по инстанциям. И случилось чудо. Девочка осталась на руках Моти, которая была уверена, что это Андрюшенька прислал ей вместо себя утешение. И отчество свое девочке дал.

К Моте все вернулось: и сила, и зрение, и разум. Уж этого ребенка она не потеряет.

Никто никогда не говорил Глафире, что ее нашли в сточной канаве. Все словно вычеркнули это из памяти, а вот Мотя не смогла. Заполненная темной грязной водой канава и размокшая коробка так и стояли у нее перед глазами. Даже посиневшего младенца она помнила словно в тумане, а коробку – так, будто все случилось вчера. Она не могла объяснить это странное свойство памяти, но всякий раз, когда ей чудилось, что Глафире грозит опасность, тонущая в грязи коробка не давала ей покоя.

Мотя понимала это видение как знак от Господа. Мол, будь всегда рядом, не оставляй, не покидай.

Мотя так и делала: оставалась рядом с девочкой каждую минуту. Тем более что ни тятеньки, ни матушки уже не было на этом свете. Когда она, снова войдя в разум, кинулась в родную деревню, оказалось, что родители год как померли. Сначала отец от разрыва сердца, а потом уж и мать. От одиночества.

И остались они с Глафирой вдвоем.

Глафира



Тетя Мотя была знатной ругательницей. Конечно, в монастыре любые ругательства – не только мат, но и все известные современному человеку нехорошие слова – были под строжайшим запретом.

– Это все дьявольское научение! Он вашими устами говорит! – любила повторять матушка Евтихия.

Но Моте все эти слова были не нужны. Всю жизнь прожившая в деревне, она отлично обходилась местной «терминологией», которую, кроме нее, никто расшифровать не мог, хотя догадаться о смысле было несложно.

Глафира знала, что Мотя любит припечатать словечком, поэтому сегодня с самого утра ждала вердикта на свое решение сойти с сытой чиновничьей стези.

И дождалась.

Вернувшись из магазина и повесив на крючок в прихожей пальто, которое Мотя называла салопом и, не снимая, носила почти круглый год – зимой под него надевалась вязаная кацавейка и пристегивался цигейковый воротник, – выгрузила продукты и начала:

– Вот знала я, что ты межеумок. Это ладно. Но хоть не полная балабошка! Ну чего тебе в теплом кабинете не сиделось? Нешто там одни дуботолки сидят? Небось поумней тебя будут! А все потому, что ты поперешница! Тебе слово, ты – десять!

Мотя высунула из кухни сердитое лицо, чтобы видеть, доходят ее ругательства до Глаши или нет.

Глафира, отвернувшись, гладила белье и ничего не отвечала. Улыбалась только.

– А я ведь знаю, кто тебя с пути сбил! Тетешница эта, Ирка! Так ты ее не слушала бы! Она ведь мало того, что белебенья, так еще и свербигузка! Сама больше месяца нигде не работала и тебя совращает!

Глафира знала, что Ирку Мотя приплела не зря: провоцирует! Ждет, чтобы она вступила в пререкания, стала защищать подругу, и вот тогда-то Мотя даст жару!

Ну уж дудки!

Надо набраться терпения и дожидаться, когда запал иссякнет и можно будет спокойно объяснить, почему она ушла из комитета соцзащиты. Надоело глупостями заниматься. Бумажки перекладывать, как говорится.

Окончив школу, Глаша выбирала, где учиться, и раздумывала недолго. Она выросла при монастыре и много навиделась. Больные и просто глубоко несчастные люди приходили к ним, чтобы получить помощь и сочувствие. Она умела выхаживать увечных, заботиться о старых

– и все это не вызывало у нее отторжения и брезгливости, наоборот, радовала возможность помогать людям.

Она легко поступила в хороший вуз на отделение, где готовили социальных работников, и ни разу об этом не пожалела. Вот только работать ей пришлось в душном кабинете, забитом бумагами и бабами, которые сами не знали, что они тут делают. Просто работали за зарплату.

Мотя ужасно пугалась всяких перемен, а больше всего – неизвестности. Ну дело ли – пойти сиделкой в чужой дом! Что за дом? Какие в нем порядки? Может, там Глашу обижать будут, а это ей, Моте, стерпеть никак невозможно!

– Чего молчишь? Неужто язык проглотила? – поинтересовалась она.

– Жду, когда ты угомонишься и мы нормально все обсудим.

Глафира сложила стопочкой белье и убрала в шкаф.

Мотя ушла на кухню и тяжело вздохнула. Вот ведь с вечера чувствовала, что денек не задастся. Так оно и случилось! Господи, прости!

Глафира тихонько подкралась и обняла сердитую Мотю.

– Да не вздыхай ты так, а то у меня сразу под ложечкой сосать начинает. Все еще лучше будет, чем раньше. Точно тебе говорю.

– Говорит она, – ворчливо ответила Мотя, но было видно, что ласковый голос Глаши подействовал на нее успокаивающе.

– Мой подопечный – литературовед, доктор филологических наук.

– Каких «олологических»? Что за науки такие? – испугалась Мотя незнакомого слова.

– Вот обзываться белебеньями и тюрюхайлами ты хорошо умеешь, а слова «филология» не знаешь! – назидательно сказала Глафира. – Это наука о литературе. Филологи ее изучают и нам рассказывают.

– А сколько ему лет, твоему профессору?

Мотя все старалась держаться поближе к интересующим ее проблемам.

– За семьдесят уже. Он инвалид. Не ходит давно.

– А руки у него работают? – продолжала выпытывать Мотя.

– У него голова работает, это главное. Знаешь, из четырех претенденток он сразу меня выбрал, – похвасталась Глафира.

– Так к нему еще и очередь была?

– А то ж! Интеллигентный одинокий человек, воспитанный, приятный в общении. К тому же хлопот с ним не слишком много.

– Как не слишком много, если и горшок выносить, и мыть, и перекладывать! Все тебе одной!

– Так в нем весу сорок килограммов! Он легкий! И потом, руки у него сильные, многое он сам делает, а на кресле, знаешь, как разъезжает! Быстрее меня! И главное, очень обходительный!

– Врешь ты все! Поди, пыня еще тот!

– Да нет, он не чванливый! Добрый! Работы совсем немного будет. Он целый день за столом сидит. Работает.

– И чего же он работает?

– Книгу пишет о поэзии. Толстую.

– Тооолстую, – передразнила Мотя. – Знаем мы этих филолухов!

– Да откуда ты их знаешь?

– Все они колоброды!

– Да как же колоброды, если он день и ночь работает! – всплеснула руками Глафира.

– Ну значит, тогда колупай!

Еще и колупай! Глафира поняла, что так просто Мотя не уgomонится. Надо было предпринять что-нибудь эдакое, чтобы ее отвлечь.

- А помнишь, тебе понравился платок на тетке Вале из соседнего подъезда?
- И что с того?
- А вот!

Глафира принесла из коридора сумку и, словно фокусник, вытащила тонкий, переливающийся ярким синим цветом платочек. Вообще-то вещица береглась к выходным, ну да ладно!

Мотя посмотрела и ахнула.

- Газовый!
- Газовый и даже лучше, чем у тетки Вали!

Мотя развернула платок и полюбовалась.

- А где ж ты денег на него взяла?
- Мне аванс выдали. Вроде как подъемные.
- Так ты сразу все на платок профукала?
- Да ты лучше примерь.

- Нет, ты скажи!
- Надень, говорю, а то обижусь!

Мотя аккуратно сложила платочек и повязала на голову.

- Ну как? – спросила она с замиранием сердца.
- Поди, сама глянь!

Мотя подошла к зеркалу и засмотрелась.

- Королевна! Неужто не видишь?

Глафира посмотрела на довольное Мотино лицо. Угодила с платочком-то! Прямо насмотреться на себя не может! Теперь будет думать, как завтра наденет свой салоп, повяжет платочек, пойдет в булочную, и все соседки это заметят.

- Ну спасибо тебе, Глаша. Только все равно...
- Давай чай пить, а, Моть! Ты меня уж притомила!

Мотя, забыв снять обновку, засуетилась, выставляя на стол тарелку с хлебом, сахарницу и чашки. Чай пить она обожала. Чуть управится с делами, сразу ставит чайник, а потом долго, с удовольствием пьет, смакуя сухарик или, что бывало нечасто, молочную карамельку.

Глафира села напротив, любуясь Мотей в новом платке. Много лет назад у Моти обнаружили диабет. Матушка Анимаиса сказала, что это стресс так повлиял. С тех пор Мотя сильно поправилась, раздалась, черты лица стали казаться мелкими и словно сгрудившимися посредине, придавленные большими щеками и несколькими подбородками.

Глафире казалось, что ничего милее Мотиного лица она не встречала.

- Знаешь, Олег Петрович сначала хотел, чтобы сиделка жила у него постоянно...

Мотя перестала жевать и замерла с набитым ртом.

– Не пугайся, ради Бога! Я сразу сказала, что у меня семья, поэтому постоянка меня не устраивает, и он согласился. Буду работать с восьми до шести шесть дней в неделю. В воскресенье вызовет только в крайнем случае.

- А ночью что ж? – поинтересовалась Мотя.
- С ним внучатый племянник живет, все, что необходимо, сделает.
- И в выходные сидеть согласился?
- Бартенев настоял, чтобы в воскресенье его оставляли в покое. Ему нужно личное пространство, как он выразился.

- А как же то самое?
- Мотя! Если ты не в курсе, то наука в этом вопросе шагнула далеко вперед.
- Да неужто? – поразила Мотя. – Это куда же?

Глафира махнула рукой и не стала объяснять, Мотя, выждав самую малость, принялась за старое:

- А племяннику этому сколько лет? Небось старый уже?

Тоже нашлась хитрюга! Глафира улыбнулась.

– Да нет, не старый. Учится в университете.

Мотя заволновалась. Любой потенциальный ухажер, появляющийся на горизонте, действовал на нее дестабилизирующе. Конечно, она не собиралась всю жизнь держать Глашу у своей юбки, но доверить свое сокровище могла только тому, кто будет ее достоин. Все прежние, проходившие перед ее глазами, были, по Мотиному мнению, либо фуфлыгами, то есть совсем уж невзрачными, либо гулящими вертопрахами. И все, как один – подлыми обдувалами, готовыми обмануть ее Глашу.

– Так сколько ему? Двадцать, что ли?

– Наверное.

Глафира с подчеркнутым равнодушием запихала за щеку шоколадную конфету, которые в доме покупались только для нее.

– Ишь ты! Наверное! Да он уже, поди, глаз на тебя положил?

– Послушать тебя, так все только и делают, что глаз на меня кладут!

– А то нет? Помнишь того басалая, что в прошлом году к тебе лип?

– Да не лип он! Просто познакомиться хотел, и все! А грубо себя вел, потому что ты на него собак спускала! И вообще, Мотя, заканчивай ругаться! Что на тебя сегодня нашло?

Мотя пила чай и смотрела в окно. Можно было бы не спрашивать. Все заботы написаны у нее на лице. И важнейшая из них – она, Глафира.

Ну как Моте поверить, что Глаша уже взрослая и можно хоть немного ослабить контроль? Понятно, что Мотя чувствует за нее огромную ответственность, но все-таки ей уже двадцать четыре. Пора доверять! Только как об этом скажешь? Мотя сразу занервничает, станет плакать, а потом полночи на коленях перед иконами простоит.

Бедная моя Мотя!

Ни за что и никогда тебя не оставлю!

Соседушки



Когда Глафиру снаряжали учиться в университете, матушка Анимаиса сразу заявила, что ни в какое общежитие девочка не пойдет, а будет жить в хорошей квартире. Глаша подумала, что речь идет о съемном жилье, и воспротивилась: знала, сколько это стоит в Петербурге. Но оказалось, что с давних пор у матушки есть в городе квартира, которую держали на всякий случай. Жилье принадлежало сестре настоятельницы, которая давно умерла, завещав его Анимаисе. Изредка ею пользовались, но последние годы квартира пустовала, и матушка направила туда их с Мотей.

В новое жилье Глафира влюбилась с первого взгляда, и дело было не только в том, что никогда в жизни она не жила в квартирах.

Дом был стар, потому облуплен и некрасив до невозможности, зато стоял в самом сердце города и был по-настоящему питерским: с гулким колодцем двора, с узорчатой решеткой на воротах, выходящих прямо на Малую Морскую, и другими чудесами, главным из которых был надстроенный мансардный этаж, делавший дом похожим на парижский.

К наружной стене дома был приделан лифт, который исправно доставлял жильцов до шестого этажа. На седьмой мансардный, где находилась их квартира, приходилось подниматься по чугунной лестнице, до того звучной, что Глафира всегда знала, кто идет.

Тяжелое бумканье с остановкой на каждой ступеньке означало, что Мотя возвращается из магазина. Сколько Глафира ни ругалась, ни запрещала ей таскать тяжелые сумки, упрямщица делала по-своему, считая, что Глаша все равно купит не то и не там. Недорогой маркет поблизости всего один, набор продуктов постоянный, но Мотя была убеждена, что все равно сделает лучше. Глафира подозревала, что поход в магазин на самом деле задумывался для того, чтобы в очередной раз рассказать встреченным соседкам, какая разумница ее Глаша, какая хозяйка, ласковая да воспитанная. Мотя, много лет прожившая в монастыре, где все взывало к скромности, понимала, что ведет себя не по-христиански, но ее так распирало от гордости, что сдержаться она не могла. Как реагировали на ее дифирамбы соседки, было доподлинно неизвестно, хотя Глафира подозревала, что большой радости они при этом не испытывали.

Дробный перестук каблучков возвещал, что домой спешит Надя Губочкина, соседка справа. Они с мужем тоже переехали в Питер не так давно, года через два после Глафиры с Мотей. Игорь служил на военном крейсере, потому дома бывал редко. Надя работала в салоне красоты и считала себя опытным стилистом. Как-то раз от нечего делать она прицепилась к Глафире с предложением «сформировать ее образ». Она так и выразилась – «сформировать». Глафира сразу струхнула. Надя всегда выглядела ярко и, на ее вкус, возвращенный монастырским

уставом, несколько вызываясь. Однако отвязаться от скучающей Нади не удалось, и, зажмурившись от страха, Глафира отдалась в руки профессионала.

Ей было уже за двадцать, но ни в салоны красоты, ни даже в парикмахерские она не хаживала. Не приучена была. Мотя вообще считала, что при Глашиной красоте никакие ухищрения не нужны. Другие пусть изгаляются, а ее красавице ненаглядной это без надобности. Сама Глафира так не думала, просто не знала, что и как нужно делать.

Сжавшись в комок и с ужасом прислушиваясь к щелканью ножниц, она внимала Надиным наставлениям.

– Вот ты волосы растила, а зачем? Все равно в пучок заматываешь. Гляди, как посеклись. Тоска смотреть. Висят, как вареные макароны, и все. Брови вообще страхолудские. Так, кажется, твоя тетя Мотя говорит? Ты ресницы хоть раз подкрашивала? А губы? Да не мотай головой, обрежу не то, что надо! При такой неухоженности откуда нормальному парню взяться? Надо следить за собой, чай, не девочка уже!

Возражать Глафира не смела, только думала, как среагирует на новомодные изыски Мотя. Надю та однозначно считала расщеколдой – а болтливых баб она терпеть не могла, – да к тому же ветрогонкой.

Чувствуя, как под накидкой потеет спина, Глафира ждала окончания экзекуции и жалела, что поддалась Надиному напору. А ну как она станет похожа на волочайку? Мотя представится от ужаса, узрев, что Глафира сделалась точь-в-точь как гулящая женщина!

Надя сняла покрывало и торжественно скомандовала:

– Любуйся!

Глафира, трепеща, открыла глаза и не поверила им. Длинные волосы непонятного цвета, который люди называют русым, обрезаны и уложены аккуратными, чуть завитыми прядями. Брови, ресницы, губы – все было красиво накрашено и выглядело очень... благородно, что ли. Ничего пошлого и предосудительного. Вот только Глафира стала совсем другой. Куда-то делись тусклые, невыразительные глаза, бесцветная, бледная кожа.

Из зеркала на нее смотрела настоящая...

– Красавица! Ты, Глафира, просто красавица! – воскликнула донельзя изумленная Надя.

Но лучшим подарком в тот день стало то, что Мотя ни ругаться, ни возмущаться не стала.

– Я всегда знала, что ты лучшая, а теперь все это увидят! – вот что она сказала.

А потом взяла и отнесла Наде коробку деревенских яиц, что прислали из монастыря.

Не сразу, а постепенно Глафира научилась ухаживать за собой, и за это опять-таки спасибо надо было сказать Наде Губочкиной. Та, впрочем, тоже обделенной не осталась, найдя в Глафире благодарную клиентку и послушную ученицу.

Когда на площадку поднимался Ярик Шведов, мальчишка, совсем недавно поселившийся в квартире слева, лестница и перила ходили ходуном, словно к ним в гости шел гиппопотам. Сам Ярик был больше похож на юркого опоссума или суриката. Глафира не поверила, когда узнала, что ему уже четырнадцать, – выглядел он двенадцатилетним, но прыти в нем было хоть отбавляй. К тому же по законам жанра соседей он в грош не ставил, при каждом удобном случае хамил и ровно в одиннадцать вечера врубал на всю катушку какую-то несовместимую с представлением о нормальных человеческих звуках музыку.

Жил Ярик один. Вернее, с отцом, но тот, как доложила всезнающая Надя, уже почти как полгода лежал в госпитале. Точно она не знала, но Шведов-старший, кажется, прибыл из «горячей точки» и был серьезно ранен.

– А мать где? – спросила Глафира.

– Не видала. Может, умерла, может, бросила.

– Неужели у них родственников нет, чтобы с мальчишкой посидели?

– Похоже, нет. Ни разу не приходил никто. Растет пацан, как лопух у дороги. Но, знаешь, я смотрю – справляется! Вчера две сумки с продуктами притащил, мимо иду, чую – грибным супом пахнет и котлетами. Самостоятельный, видать!

Жалостливая Глафира всю ночь думала, как помочь одинокому мальчику. Они с Мотей решили, что надо поставить Ярика к ним на довольствие. Мотя напекла пирогов и попыталась пригласить соседа на чай. Тот даже до конца не дослушал! Огрызнулся так, что Глафира с Мотей прикусили языки и больше благотворительностью не занимались.

Самостоятельный, точно!

Глафира дружила с Надей и дипломатично старалась обходить стороной строптивного подростка.

Профессор Бартенев



Когда Мотя после появления в ее жизни Глафиры «вернулась в разум», ей доверили более сложную работу, чем подметание двора. Она была работящей, терпеливой, доброй, и матушка Анимаиса назначила ее ухаживать за больными. Мотя с радостью взялась, а Глафира стала крутиться рядом, так и научилась всему.

Справедливо считая, что справится с обязанностями сиделки, на собеседовании она держалась уверенно и спокойно. А когда пришло время приступить к работе, струхнула не на шутку.

Ну как профессор окажется излишне требовательным и строптивым? Она ведь не медсестра по образованию, а соцработник. Конечно, многое умела, но все же... На собеседовании ей пришлось упомянуть, что выросла она при монастыре, и профессор, кстати, был удивлен. Даже спросил, не послушница ли она и не собирается ли в будущем принять постриг. Глафира только улыбнулась и покачала головой.

Из дома она вышла рано, решив, что пойдет пешком, по пути немного оклемается и при профессоре свои комплексы демонстрировать не станет. Заодно и кратчайшую дорогу к дому Бартенева выучит.

Дом, в котором обитал Олег Петрович, был необычным, как и его история. Двухэтажный, довольно высокий, но узкий, когда-то он использовался как служебное помещение для большого магазина скобяных изделий и механизмов купца второй гильдии Онуфрия Евстафьевича Обручева. На первом этаже был приемный пункт, куда петербуржцы приносили сломанные механизмы, на втором – контора. По виду – обычная пристройка, только не какая-нибудь дощатая и наскоро скроенная, а каменная, оштукатуренная и с обогревом, чтобы рядом с приличным магазином не казалась убогой и не позорила хозяина. После революции магазин не закрылся и даже не был разграблен. Скобяные изделия оказались нужны людям и при Советах. Что уж говорить о механизмах! Хозяин, правда, сгинул где-то еще в тридцатых, но его детище дотянуло аж до девяностых годов двадцатого века, пока по чьей-то прихоти не превратилось в салон для новобрачных. Уж больно удачно стояло: такие места в большом городе называют «тихим центром». Новобрачные, они люди суеверные, боятся сглаза, порчи и даже завистливого взгляда. А тут – и нескромные прохожие под ногами не крутятся, и места много.

Пристройку ожидала иная судьба. К свадебному салону она почему-то не пристроилась, а была переоформлена в жилое помещение. Так посреди многоэтажного Петербурга, вдали от шумных улиц появился небольшой и довольно приличный особнячок.

Олегу Петровичу он достался вместе с женой.

С Людмилой они учились на одном курсе в университете. Она была хорошей студенткой, но совершенно не собиралась посвящать себя филологии. Этого она ни от кого не скрывала, считая, что высшее образование – просто печка, от которой нужно танцевать. После получения диплома она ушла в какой-то бизнес, а когда все теневое вдруг вылезло наружу и стало тем, чем можно гордиться, оказалось, что из нее получилась крутая бизнес-леди. Личная жизнь, правда, не задалась. Просто за делами некогда было, но когда появилась возможность передохнуть и оглядеться, Людмила всерьез задумалась о спутнике жизни. Ей давно за сорок, а она не замужем. Те ребята, с которыми делала деньги, в мужья приличной даме не годились. И тут на юбилейном вечере встречи выпускников филфака она заметила Олежку Бартенева, когда-то не на шутку влюбленного в нее и науку. С наукой, как выяснилось, у него получилось лучше, чем с ней. В свои сорок с хвостиком он был уже доктором наук и членкором – вполне солидно. А самое главное, до сих пор не женат, бедняга! Кстати, выглядел он вовсе не захудалым ботаником: интеллигентный, приятный в общении и при этом не занудный, не забытый и не пугающийся от женщин.

Людмила взяла быка за рога и очень быстро добилась своего. А когда выходила замуж, была в Бартенева почти влюблена.

Бывшую пристройку она купила перед самой свадьбой и все отлично в ней обустроила. Домик был невелик по площади, зато в самом престижном районе. Кроме того, недалеко от университета, где преподавал муж. Людмила была хорошей женой. Она вообще все делала на пять с плюсом. Олегу Петровичу были созданы все условия для занятия наукой, и его успехами на этом поприще жена искренне гордилась.

В общем, пара из них получилась вполне гармоничная. Детей, правда, не случилось, но ни одну, ни другого это не огорчало. Она вся в бизнесе, он весь в науке. До того ли?

Профессор вовсе не был нахлебником у богатой супруги. Конечно, его заработки при кипучести профессиональной деятельности были несравнимы с доходами жены, но это искупалось авторитетом в научных кругах, званиями, наградами, наконец, статусом крупного ученого.

Так они жили-поживали да добра наживали.

А потом пришла старость.

Сначала – к Людмиле, и не одна, а с болезнями. Работать по двадцать четыре часа в сутки уже не получалось, часто она оставалась дома одна и постепенно поняла, что жили они с мужем, в общем-то оставаясь чужими людьми. Она – в бизнесе, он – в науке, а общего совсем немного. Только любимый ими обоими дом.

Олег Петрович о душевных терзаниях жены не догадывался. Он по-прежнему был востребован и успешен. В своей области, разумеется. Он-то как раз еще мог работать сутками: сидеть за столом, копаться в документах или статьи писать.

Но тут случилось неожиданное. Возвращаясь с очередного симпозиума, Олег Петрович попал в аварию. Таксист, который вез его из аэропорта, отделался легким испугом и сломанным ребром, а Бартенев остался инвалидом.

Впрочем, то, что он пересел в инвалидную коляску, мало сказалось на его деятельности. В больнице он пробыл довольно долго, зато потом кинулся наверстывать упущенное. Благо мозги в аварии не пострадали, только позвоночник и суставы ног.

Трагедию, случившуюся с Бартеневым, Людмила пережила стоически. Она даже обрадовалась, что они наконец-то больше времени смогут проводить вместе. Когда же обнаружила, что их жизнь мало изменилась, загрузила окончательно.

Так она чахла несколько лет, пока не зачахла окончательно.

В семьдесят профессор остался один.

И тогда в его жизни появились сиделки. Поначалу они раздражали ужасно. Он с трудом переносил присутствие в доме чужих людей, особенно женщин – сиделке приходилось делать

всю грязную работу по уходу за инвалидом, а не только уколы и массаж. Одна, впрочем, задержалась на три года, и Бартенев успел к ней привязаться. А потом женщина уехала в Ставрополь нянчить внуков.

Надо было искать новую сиделку, и это было мучительно.

Одно хорошее агентство взялось ему помочь и даже устроило собеседование с претендентками.

Женщины все, как одна, были квалифицированными медсестрами и опыт ухода за инвалидами имели, но Олег Петрович остановил свой выбор на девушке, не имевшей медицинского образования и работавшей до этого в комитете соцзащиты.

Почему он выбрал именно ее, профессор и сам не понимал. Он даже согласился на неудобный режим работы, ведь ночью он оставался со Стасиком, безалаберным внучатым племянником, от которого толку ждать не приходилось.

И все равно выбрал именно эту. Может быть, потому, что она выросла в монастыре и у нее было очень красивое имя – Глафира. В переводе с греческого значит – изящная, искусная, утонченная.

Тетенька из агентства была недовольна его выбором и еще два дня настойчиво отговаривала, но профессор остался тверд. Может, он и пожалеет о своем выборе, но что-то подсказывало: с этой будет интересно общаться. Может, они даже подружатся. С чего он это взял, профессор объяснить не мог.

Карьерный рост



Первый день, как и предполагала Глафира, стал комом. Причем большим. Профессор ее стеснялся, она боялась, что покажет себя неумехой, в общем, устали оба.

Хотя профессор ей понравился сразу. Не только интеллигентностью, спокойным, приятным обхождением, но и еще двумя очень важными, на ее взгляд, качествами: умением терпеть боль и чувством юмора.

Вернувшись домой после первого рабочего дня, Глафира проделала над собой необходимую работу. Заключалась она в том, что весь вечер они с Мотей молились Пантелеймону Целителю, чтобы помог обрести твердость в помощи страждущим.

Видимо, профессор сделал то же самое, потому что дело с новоявленной сиделкой сразу пошло веселей.

Конечно, Бартенев угадал все ее страхи, и это было странно, потому что Глафира была уверена: по ее непроницаемому виду ничего понять нельзя. Подбадривать привычными словами он не стал, а рассказал забавную историю о том, как Александр Сергеевич Пушкин приехал в свое имение в Михайловском и обнаружил, что его няня в свои семьдесят выучила новую молитву «об умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости». Пушкин нашел это уморительным: Арина Родионовна растила его с колыбели и в детстве не раз прикладывала руку к его шаловливой попе.

– А у вас в заглавнике что-нибудь подобное есть? Ну... про умиление моего сердца и укрощение духа свирепости?

Глафире стало смешно. В самом деле, чего она тушует? Никто ее не съест.

Она принялась за привычное дело и быстро позабыла, что надо бояться.

Помог, видать, Пантелеймон.

К тому же Моте, явившейся в профессорский дом с ревизией, Бартенев тоже понравился. Она, правда, виду не подавала, старательно хмурила брови и навела на профессора такого страху, что он поклялся на иконе Матроны Московской: будет приглядывать за Глафирой «пуще самого Ангела-Хранителя». Бартенев так впечатлился, что, кажется, забыл, кто из них кому сиделка, а довольная собой Мотя отбыла восвояси, пообещав наведываться «в случае чего».

С той поры профессор в самом деле стал, как он говорил, «курировать» Глафиру, и это ему даже нравилось. Словно они уравнились в правах.

Довольно быстро Глафира обустроила их совместную с профессором жизнь. Незаметно для себя Олег Петрович перестал сжиматься, когда она надевала на тонкие руки перчатки,

готовясь к неприятным и очень грязным процедурам, забыл, что надо стесняться своих тощих волосатых ног, когда она делала массаж, и с готовностью снимал штаны, подставляя задницу под шприц.

Он полюбил с ней разговаривать. Обо всем: о жизни, о погоде, о книгах. Оказалось, это очень интересно – просто общаться.

Почему с женой они делали это так мало и редко? Желания не имелось? Были слишком заняты собой и своими делами?

Девушка Глафира заставила его размышлять о том, что в человеческой жизни на самом деле важно, и профессор был ей благодарен.

А через некоторое время он обнаружил, что сиделка с удовольствием слушает его рассказы о литературе девятнадцатого века, периода царствования Александра Первого, его самого любимого времени. На эту тему Бартенев мог говорить бесконечно, было бы с кем! И тут такая удача! Слушательница не просто внимательная, а заинтересованная!

Выходит, не ошибся он с выбором! Олег Петрович похвалил себя за провидческий дар и задумал один интересный ход. Нетривиальный, нестандартный и довольно новаторский.

Глафира о задумке профессора узнала не сразу. Она была занята более важными вещами. Например, выстроить отношения со Стасом, родственником профессора и ее ночным сменщиком.

Сложность заключалась в том, что первая роль Стасика вполне устраивала, а вторая – абсолютно нет.

Мать Стасика приходилась профессору родной сестрой, но ее жизнь была далека от той, которую вел Бартенев. Неизвестно, каким манером, но судьба занесла ее из Петербурга в маленький поселок в Костромской области с непоэтичным названием Гравийный Карьер. Подробностей не знал и сам Олег Петрович, хотя по некоторым признакам предположил, что в этот Карьер его сестра приехала вслед за очередным сожителем, который освободился из мест лишения свободы и решил обосноваться подальше от цивилизации, а заодно и от греха.

У этой веселой пары было двое детей, которые проживали с родителями и к звездам не рвались. А вот один из внуков, юный Станислав, окончив школу, неожиданно решил обосноваться в Северной столице. Ольга Петровна, души в нем не чаявшая, вспомнила о брате, с которым не общалась несколько лет, и напрягла его по полной. Тот «поступил» внучатого племянника в приличный вуз и поселил у себя.

Стасик был порождением своего времени и среды, в которой вырос. Он хотел всего и сразу, но только не работать. Живя у Бартенева на полном обеспечении, он ничем особенно не утруждался и никогда не печалился. Дядя, как он звал Олега Петровича, его кормил-поил, мать с бабушкой присылали денежки, которых не всегда хватало, но в этом случае можно было немного поклониться у профессора или даже незаметно стырить. Немного, разумеется. Так, по мелочи.

И тут вдруг оказалось, что ему придется работать ночной сиделкой, да еще и в воскресенье, как выразился дядя, «страховать от несчастного случая». Стасик был оскорблен в лучших чувствах, даже негодовал, но недолго. Старик пообещал за такой жуткий напряг неплохие денежки, и Стас согласился. К тому же выяснилось, что ему не придется ночевать на стуле у кровати инвалида. Если понадобится, дядя нажмет на специальную кнопку.

На Глафиру, из-за которой ему придется ночами безвылазно сидеть дома, Стасик злился гораздо дольше. Тоже мне сиделка, называется! Больно хорошо устроилась за его счет! Ночью работать она, видите ли, не может! На хрена тогда сиделкой нанималась? Шла бы в магазин. Те по ночам не работают.

Глафира все понимала и тоже первое время негодовала на первобытный махровый эгоизм Стасика, а потом решила, что не родился еще тот богатырь, с которым она не нашла бы общего языка. Понаблюдав за повадками оболтуса, она смекнула, что ключ к нему лежит в двух плоскостях: еде и уважении.

С первым она разобралась довольно быстро. Нигде не умеют так вкусно и сытно готовить, как в монастырях. И этой наукой она владела совсем неплохо.

На уважение времени ушло гораздо больше, но Глафира справилась. Свою непритязательную сущность по младости или глупости Стасик не умел скрывать совершенно, поэтому даже в кругу сверстников уважением не пользовался. К тому же он был из деревни, а это в разы усложняло ситуацию. Глафира сразу стала относиться к молодому человеку серьезно и с уважением. Не как прислуга к хозяину, разумеется, а просто как к взрослому, умному человеку, достойному родственнику почтенного профессора. Стас заметил это не сразу – привык к пренебрежению, – но потом оценил и сбавил обороты. Начал здороваться, после обеда говорить «спасибо», а однажды даже помог Глафире вымыть инвалидное кресло, на котором она вывозила профессора на прогулку.

Итак, Стасика она худо-бедно причесала. Теперь можно успокоиться и просто делать свое дело.

Глафира окончательно перестала нервничать и постепенно стала получать от работы удовольствие. Она была уверена, что так будет продолжаться и дальше.

Но однажды Бартенев зазвал ее к себе в кабинет и, усадив, объявил, что собирается предложить ей новую работу. Глафира напряглась. Уволить ее хочет, что ли?

– Академия наук обратилась ко мне с предложением, от которого невозможно отказаться, – начал Бартенев, глядя на нее торжественно и загадочно. – В Россию прибыл архив одного очень известного человека, и мне предложили им заняться. Хочу, чтобы вы стали моей помощницей.

Господи, о чем это он? Ерунда какая-то!

Видимо, мысли отразились на ее лице.

– Вижу, что вы, уважаемая Глафира, поражены, но, умоляю, не торопитесь отказываться. Подумайте, ведь это может быть интересно.

– Олег Петрович, помилуйте! Я соцработник по образованию. К архивам отношения никогда не имела. Ничего об этом не знаю.

– Я вас научу, тем более работа помощницы не столь тяжела, как кажется. Возможно, вам понравится.

– С чего вы взяли?

– Вижу в вас живой ум и стремление к познанию! Считайте, что я предлагаю вам научный эксперимент!

– Какой?

– Перейти из сиделок в ассистентки ученого!

Ничего себе! Вот это карьерный рост! Разве такое бывает?

Архив Лонгинова



Считая, что дожимать Глафиру нужно немедленно, Бартенев подкатил к стоящему возле дивана ящику и со словами «посмотрите-ка на это чудо» отбросил крышку. Даже до стоящей за два метра Глафиры донесся запах пыльной бумаги и плесени.

Ящик был забит до отказа. «Да тут и за год не разберешься», – с тоской подумала она.

«Если Мотя узнает, что я целыми днями чахну над сундуком и глотаю пыль, она устроит профессору Мамаеву побоище, чтобы не гробил ее дитя».

– Представляете, сколько тайн скрывается в этом ящике? Мы с вами можем стать первооткрывателями, Колумбами в истории и литературе! Мы сделаем такие открытия, каких еще не знали! Новые имена, факты, раритетные документы! Согласны?

Глафира не знала, что сказать. Видя, что будущая соратница по разгребанию пыльных бумаг колеблется, Бартенев поддал жару:

– Нас ждет успех! Слава! Нобелевская премия!

Глафира покосилась на вошедшего в раж профессора. Ну разошелся! И ведь в самом деле в это верит!

Ей почему-то вдруг стало жалко его. Бедный одинокий Олег Петрович! Много лет сидит в своем кабинете, прикованный к инвалидному креслу, этому дому, работе. Других радостей у него давно нет. Ну и что же, снова бросить его одного, чтобы он чах тут в пыли, как царь Кощей над золотом? Уж как-нибудь разберется она с бумагами. Читать умеет, считать – тоже. И здоровье у нее получше, чем у профессора. Господи, благослови!

Глафира выдохнула и сказала:

– Я согласна вам помогать, Олег Петрович. Рассказывайте.

Бартенев аж засветился. Надо же, согласилась! И денег не потребовала! Вот чистая душа!

После обеда и часового отдыха – режим Глафира соблюдала строго – они засели в кабинете и углубились в историю.

– Николай Михайлович Лонгинов в свое время был личностью примечательной. Родился он в конце восемнадцатого, а умер в середине девятнадцатого века. Сын сельского священника Харьковской губернии дослужился до действительного тайного советника, сенатора, члена Государственного совета. В советское время такая карьера мало кому из простых людей снилась!

– Вы сказали, что архив прибыл из Австралии. Как он туда попал?

– Сие есть самое удивительное. У Николая родилось три сына. У двоих из них были дети, а значит, и внуки, но следы рода Лонгиновых, как это часто бывало в России, давно потерялись.

Последние известные потомки – дочери правнука Николая Лонгинова, Юрия Михайловича Козловского, умершего в тысяча девятьсот сорок третьем году и похороненного в Париже. Видимо, сей дивный город и стал точкой отправления архива в долгое плавание по городам и весям. В конце концов осел он в Австралии в доме одного фермера, который и не ведал, что его предки были русскими дворянами. Бумаги долго валялись на чердаке, пока фермер не решил их наконец выбросить.

– Ах!

– Вот и я сказал «ах», когда об этом услышал. Однако фермер был не дурак, а может, и дурак, но предприимчивый. Сперва он решил в эти бумаги заглянуть, но ничего не понял. Русского он не знал, понятное дело. Тогда фермер позвал на помощь одну древнюю бабушку. В ее доме он как-то видел письмо, в котором были такие же буквы. Фермер дал ей несколько писем. Бабушка прочла и зарыдала. Ей попало благодарственное письмо императора Николая Первого своему верному слуге Николаю Михайловичу Лонгинову с личной подписью и печатью. Пока бабушка плакала от счастья и целовала вензель государя, фермер сообразил, что бумаги могут принести немалую прибыль. Дело закрутилось. Слава богу, у него хватило ума не выбросить архив в свободную продажу, а сразу обратиться в Российскую академию наук. Даже беглого взгляда на сканы, присланные из Австралии, хватило, чтобы понять: в наши руки попало сокровище. Академия торговалась с австралийцем и – вуаля! – архив наш!

– Как я поняла, он имеет историческую ценность.

– И немалую, прекраснейшая Глафира Андреевна!

– А почему обратились к вам? Вы же литературовед.

– Причин тому несколько. Во-первых, кандидатскую диссертацию я писал по лицейскому периоду Пушкина и тогда столкнулся с трудами Михаила Николаевича Лонгинова, младшего сына Николая. Он был известен как прозаик, поэт, мемуарист. Кстати, тоже окончил Царско-сельский лицей. Михаил долгие годы разыскивал редкие и неизданные материалы Пушкина, даже сборник составил, так что фамилия Лонгинов была хорошо мне знакома. Докторскую я писал по истории литературы первой половины девятнадцатого века и до сих пор считаю крупнейшим специалистом. К кому же обращаться, как не ко мне?

Глафира уловила в голосе Бартенева обиду.

– Простите невежду, профессор.

– Ничего, со временем это пройдет. Как только вы начнете со мной работать, процесс образования наберет космическую скорость!

Глафира внутренне содрогнулась. Она-то думала, что школьная парта осталась в прошлом.

– Кроме того, передали не все бумаги, а только ту часть, которая касается интересующего меня периода. Весь архив с трудом уместился в четырех больших сундуках! Представляете, что там может быть?

Конечно, Глафира не представляла. Чем больше она вникала в суть своей будущей работы, тем страшнее ей становилось.

Куда она полезла? И главное – что на подобные выкрутасы скажет Мотя?

Выслушав ее рассказ, та выдала:

– Ничего. Бог терпел и нам велел. Авось как-нибудь справишься. Ты у меня умница-разумница, не растыка, не печная ездова и не баламошка лободырная какая-нибудь! Завтра попросим у батюшки благословения – и за дело!

В который раз Глафира удивилась Мотиной мудрости. Другая бы отговаривать стала, а эта все поняла, как надо.

Мотенька моя любимая!

Ложась спать, Глафира улыбнулась. И правда, глаза боятся, а руки делают. Интересно, что они найдут в этом архиве?

Письмо



Самое приятное ожидало Глафиру наутро. Олег Петрович встретил ее сообщением, что с этого дня повышает зарплату в два раза. Это было по-королевски! Ей и так платили хорошо. А теперь можно будет не думать, на что купить Моте лекарства, хватит ли дотянуть до конца месяца, смогут ли они купить новые сапоги к зиме. И вообще, перед ними открывались большие возможности. Глафира даже решила, что сегодня же по пути домой купит билеты в Александрино или Мариинку. А лучше – в оба театра сразу. Мотя обомлеет.

Через несколько дней она поняла, что не зря согласилась участвовать в бартеневском «эксперименте». При том распорядке дня, что она завела в доме, времени действительно оставалось достаточно. Чем сидеть сиднем в ожидании, когда профессор проснется или закончит очередную статью, не лучше ли что-нибудь поделать? Так она и поступила. Едва выдавалось свободное время, Глафира подходила к ящику и, осторожно вынув несколько бумаг, принималась за опись. Это было ее первое поручение на посту ассистентки.

Утром после процедур и завтрака они с профессором отправлялись на прогулку. Для этого надо было пересест в «гуляльную» коляску из «домашней». Первая была старомодной, с толстыми, тяжелыми колесами: как раз для российских дорог. «Домашняя» – из дорогих, с электроприводом, пультом управления и всякими штуками, не менее сложными, чем у автомобиля. Сменяя друг друга, обе коляски – Бартенев называл их «каталками» – ждали у лифта, который обустроила покойная супруга профессора сразу после того, как выяснилось, что ходить Олег Петрович не сможет. Он был настоящим чудом техники. Производителем значилась известная швейцарская фирма, и ей не приходилось стыдиться за свой продукт: много лет лифт работал безотказно, поднимая профессора на второй этаж, где располагались спальня и кабинет.

Пересадив высохшего с годами до «бараньего» веса профессора с одного кресла на другое, Глафира везла его в парк или просто на улицу и начинала докладывать о том, что нашла в сундуке. Бартенев слушал и решал, что из документов он возьмет в работу в первую очередь. А потом незаметно переходил на разговоры об очень интересных вещах: поэзии, непростой и очень насыщенной событиями жизни людей в далеком девятнадцатом веке, любовных перипетиях, трагических и счастливых переплетениях судеб.

Время прогулки пролетало незаметно, и после обеда, уложив Бартенева в постель, Глафира снова возвращалась к архиву, который становился ей интересен день ото дня все больше.

Так она, пожалуй, и вправду переквалифицируется в научного работника!

На пожелтевшем конверте из плотной бумаги, запечатанном наполовину раскрошившимся сургучом, не было ни имени адресата, ни подписи отправителя. Глафира пощупала конверт и почувствовала, что, кроме письма, в нем есть еще что-то: маленькое, но твердое. Повертев конверт, она отложила его в сторону и занялась другими бумагами.

О странном конверте она вспомнила только к вечеру и отнесла его Олегу Петровичу.

– Вот, нашла среди бумаг в маленьком ящике.

Бартенев приблизил к глазам сургучную печать.

– Плохо виден штемпель. А может, и не штемпель... Подайте-ка нож... Хотя, нет, нужно просто немного нагреть.

Олег Петрович подержал конверт над стеклянным плафоном настольной лампы и осторожно отделил сургуч.

Внутри был небольшой листок бумаги, сложенный вдвое, а потом на стол выпала женская серьга. Олег Петрович поднес ее к свету. Прозрачный камень каплевидной формы вспыхнул благородным блеском.

– Похоже, бриллиант. Посмотрим, чья это пропада.

Он развернул листок, и вдруг руки у него затряслись так, что письмо чуть не выпало из пальцев.

– Что такое, Олег Петрович? – испугалась Глафира.

– Постойте, не может быть... Или я совсем дурак... или...

– Что там?

– Подождите!

Бартенев оттолкнулся от стола и подъехал к книжной полке. Перебрав несколько томов, он вынул один и вернулся к столу. Раскрыв книгу, Олег Петрович быстро ее перелистал и открыл на странице с фотографией какого-то текста, написанного торопливой рукой. Положив рядом с книгой листок из письма, он впился в них глазами и замер. Глафира – вместе с ним.

Так продолжалось минут пять, пока Бартенев, наконец обретший способность шевелиться, не поднял на нее совершенно ословелые глаза. Глафира испугалась.

– Олег Петрович, может...

– Нет, не может. Не может быть, потому что... просто не может!

– Господи! Да что вы такое увидели?

– Не поверите. И я бы не поверил. Знаете, что вы мне принесли?

– Даже не догадываюсь, честное слово.

– Это письмо написано рукой Александра Сергеевича.

– Пушкина? – спросила Глафира, уверенная, что сейчас Бартенев рассмеется ей в лицо. Какого Пушкина? Вы бы еще Иоанна Васильевича вспомнили!

– Да, – коротко ответил Олег Петрович.

Глафира моргнула.

– Это даже не письмо, а записка, словно человек писал из последних сил. Пропуски, незаконченные фразы. – Он прочел вслух: – «Прощайте... Слезу Евы, случайный дар Ваш... не могу забрать с собой... Благослови... Ваши деяния. Навеки...» – Помолчал и добавил: – Подписи нет, но есть дата – двадцать девятое января, рядом две буквы – «с» и «г». Сего года, значит. И поставлена другой рукой.

– Какого сего?

– Думаю, тридцать седьмого. То есть, получается, письмо написано в день смерти. Я много лет имел дело с архивными документами. По качеству бумаги могу точно сказать, к какому времени они принадлежат. Смотрите, конверт, написанный пером текст... Я просто уверен, что это не подделка.

– Кому же оно адресовано?

– Полагаю, той, кому принадлежала эта серьга.

Бартенев взял сережку и, задумчиво глядя на нее, сказал:

– Слеза Евы. Действительно, форма бриллианта напоминает слезу. Кто такая эта Ева?

– А серьга дорогая?

– Не в этом дело, Глафира. Пушкин общался преимущественно с женщинами, которые могли позволить себе дорогие украшения. Гораздо интереснее, почему он не назвал себя. Даже подписи нет.

– Значит, она знала его почерк.

– Или свою сережку. Странно, но я нигде не встречал имени Ева. Конечно, понимаю, что в свой Донжуанский список он включил далеко не всех женщин. Список был составлен, что называется, на скорую руку. Но этого имени не было ни в письмах, ни в воспоминаниях друзей.

– Ева. Красивое имя.

– Наверное, только для того времени, скажем так, странное.

– А если это кличка?

– Скажете тоже – кличка!

– Ой, простите, псевдоним.

– Хотите сказать – вымышленное имя? Возможно.

Глафира глянула на часы и заторопилась. Через сорок минут ужин, потом таблетки и отдых. Мысленно она перебрала имеющиеся продукты и решила, что успеет сбегать к соседке за творогом. Пока будет вариться картошка, можно сделать сырники к чаю. Сметану она купила еще вчера, а котлеты пожарит за десять минут.

С озабоченным видом Глафира припустила в кухню вершить великие дела, и профессор, проводив ее глазами, остался один.

Странная Ева не давала ему покоя. Вряд ли в России кому-нибудь пришло в голову назвать девочку ветхозаветным именем. Скорее всего, Глафира права: оно вымышленное. Кто же за ним прячется?

Олег Петрович нажал кнопку, и кресло бесшумно покатилося. Он стал наматывать круги по комнате, повторяя, как заклинание:

– Ева, Ева, Ева...

В голове что-то крутилось, но он никак не мог поймать мысль за хвост. О какой такой Еве думал Пушкин перед смертью. Всех, кто был ему дорог, знают наперечет в алфавитном порядке и в хронологическом. Откуда взялась эта Ева? Вряд ли в последние перед дуэлью дни он умудрился завести новый роман. Хотя... зная его натуру, можно предположить и такое. Но... нет, тогда ему было чем заняться и без амуров. К тому же серьга. Она откуда взялась?

Бартенев подъехал к столу и взял в руки письмо. Боже! Сколько нежности и боли в каждом слове! Он любил ее. Сильно любил. И это – «Ваши деяния». Какие деяния? Кому можно написать такое?

Он снова закружил по комнате, словно разгоняя мысли.

– Думай, старый хрыч, думай, напрягай извилины!

Извилины напрягались изо всех сил, но просветление не наступало.

– Ева, Ева. Адам и Ева. Ева и Адам.

Он вдруг остановился посреди комнаты. Кресло немного пожужжало и замерло.

– Адам. Адам. Адам? Нет, не может быть!

Профессор уставился в одну точку и с минуту сидел, пытаясь разобраться в сумбуре, творящемся в его голове.

– «Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись», – вдруг запел он фальцетом и погладил себя по голове: – А ты еще варишь, старый мой котелок.

Ева



Когда на профессора находил стих, Глафира старалась не приставать к нему с занудными требованиями соблюдать режим, вовремя питаться, отдыхать и все такое. Старалась делать все сама и молча. Например, заходила в кабинет с тарелкой, и пока Бартенев продолжал искать что-то в книгах, потихоньку скармливала ему кашу или омлет. Таким же манером давала лекарства. Единственное, что невозможно было сделать без его участия, – прогулки. Вообще-то гулять Олег Петрович любил, особенно в последнее время, когда у них с Глафирой появилось столько тем для обсуждения, но только не когда на него находил «исследовательский раж»! В этом случае на уговоры уходило не менее получаса. Нырнув с головой в работу, Бартенев ни в какую не соглашался отвлечься хоть на минуту. Даже для отправления естественных надобностей ехал с ней как приговоренный.

Олег Петрович был упрям, но Глафира упрямей. Кроме того, на ее стороне уверенность в своей правоте и недюжинное профессиональное терпение.

В конце концов профессор сдавался, с унылой миной позволяя себя одеть и взгромоздить на «гуляльную каталку», с ее огромными колесами, которые нужно было крутить руками. Профессор этого не любил, поэтому Глафира просто толкала кресло перед собой. Как детскую коляску.

Утро выдалось пасмурным, хотя дождя не было.

Обычно разговорчивый, профессор молчал, нахохлившись, как воробей. «Наверное, размышляет об архиве Лонгинова», – подумала Глафира и вспомнила недавний разговор со Стасиком, который любил посплетничать.

К вящему удивлению Глафиры, оказалось, что у профессора имеется дама сердца. Она моложе Бартенева лет на двадцать, что не мешало Стасику называть ее «старой кошелкой». Глафира была удивлена, потому что никогда не встречала в доме ни одной женщины.

– Да она уже к нам не ходит! – сообщил Стас и с гордостью добавил, что это он отвадил престарелую ухажерку.

– Прикинь, ее Вера Аполлоновна зовут! Папаша был Аполлон! Это кто же из предков удумал так ребенка назвать? – веселился Стасик.

Оказалось, что он сразу заподозрил даму в корысти. Ну не могла же она влюбиться в старика? Сама уже на ладан дышит! Поди, решила: когда дядя отбросит копыта, профессорские хоромы ей достанутся. Конечно, она же в пригороде живет, а тут центр города!

Глафира слушала довольного собой Стаса в ужасе, но возражать не стала. Она ведь никогда не видела эту Веру Аполлоновну и ничего о ней не знала.

И все же ей было почему-то жаль профессора и его несбывшуюся любовь.

Она взглянула на понурого Бартенева. С чего она решила, что ни о чем, кроме работы, тот думать не в состоянии? А как же утверждение поэта, что «любви все возрасты покорны»?

Интересно, кто она такая, эта Вера Аполлоновна?

Глафира хотела уже было растормошить профессора, начав свой обычный утренний доклад, но почему-то не стала.

Ей ведь тоже было о чем подумать.

Например, о том, что в последнее время Мотя часто жаловалась на боль в ноге и усталость. Значит, диабет потихоньку продолжал подтачивать организм. Это плохо. Надо уговорить Мотю лечь на обследование. Но как? От одной мысли о больнице у нее начинался приступ паники. И главной ее догадкой было то, что она оставит Глафиру одну. Великовозрастную девушку двадцати четырех лет! Можно, конечно, посмеяться, но на самом деле все было очень тревожно. Какой бы фокус придумать, чтобы объехать Мотю на кривой козе?

Думая каждый о своем, они проехали несколько километров и вернулись в дом. Пересев в «домашнее» кресло, профессор тут же направился к лифту и, поднявшись, покатыл к своему любимому столу. Глафира сняла с него пальто и боты, не отвлекая, и тихонько направилась по своим делам.

И все же, что на него сегодня нашло?

Впрочем, через некоторое время она успокоилась. К ужину Бартенев спустился в обычном для него состоянии собранности и даже был чем-то доволен.

Все-таки работа, а вовсе не любовь. Хорошо это или плохо?

В этот раз «исследовательский запой» продолжался двенадцать дней. А на тринадцатый он выкатил на площадку и, свесившись, крикнул ей сверху:

– Вы не поверите, что я нашел!

Она подняла голову. Олег Петрович был бледен от возбуждения. Глафира быстро поднялась в кабинет. Как бы ему хуже не стало от такого рвения!

– Я искал и нашел! Это просто невероятно! Вы не поверите!

– Поверю! Вам я верю сразу и во веки веков! – торопливо заверила его Глафира.

– Нет, вы послушайте! Это же открытие! Я нашел в воспоминаниях правнучки Натальи Федоровны Шаховской, в замужестве Голицыной, бывшей любимой фрейлины Елизаветы Алексеевны, жены Александра Первого еще в бытность той цесаревной, один интереснейший факт! Просто невероятный по своей интересности! Но сначала передохну.

– Вам плохо? – сразу вскинулась Глафира.

Бартенев pokrutil головой.

– Отлично себя чувствую! Превосходно! Только есть опасность хлопнуться в обморок от счастья.

– Ну уж этого я не допущу!

Глафира быстро сделала укол, налила в стаканчик капель и посмотрела на Олега Петровича.

Он откинулся на спинку кресла, пытаясь немного успокоиться.

– Елизавету, урожденную Луизу Марию Августу Баденскую, выдали за цесаревича Александра еще девочкой. Екатерина Вторая торопилась женить внука в надежде сделать его императором через голову сына Павла. Совсем юная Елизавета, ей было всего четырнадцать, к замужеству оказалась не готова. Цесаревич, уже довольно развращенный придворными дамами, хоть поначалу и увлеченный женой, скоро остыл и пустился во все тяжкие. Женщины навсегда остались, простите за оксюморон, его самой сильной слабостью. Недаром на Венском конгрессе восьмьсот пятнадцатого года венцы говорили, что русский царь любит за всех. Но ладно. Дело в общем-то не в этом. Оставленная мужем Елизавета страдала. Одна, в чужой стране. Не позавидуешь. А тут еще фаворит Екатерины Второй Платон Зубов грязно домогается, прямо

проходу не дает. Короче, она искала защиту и нашла ее в лице ближайшего друга Александра Адама Чарторыйского, или Чарторыжского, как часто пишут. Он был старше почти на десять лет и необыкновенно хорош собой. Некоторые считают, что инициатором любовных отношений стала Елизавета. Вранье, по-моему. Это перед ней мало кто мог устоять. Хороша была и в молодости, и в зрелости! Но, так или иначе, они стали встречаться. Закончилось все довольно плачевно. В тысяча семьсот девяносто девятом году, кстати, в этот год родился Пушкин, Елизавета после пяти лет бесплодного брака произвела на свет черноволосую девочку, очень похожую на Адама. Император Павел был в ярости и от греха подальше сослал Чарторыйского в Италию. Мария прожила чуть больше года – тогда совсем не умели лечить обычные детские болезни – и умерла. Елизавета вновь осталась одна.

– Печально.

– Весьма, но сейчас не об этом. В записках правнучки Шаховской я нашел сведения о том, что в своих записочках и коротких письмах к Елизавете Чарторыйский называл ее Евой. Адам и Ева, понимаете? Шифровался так. Любовная связь с невесткой императора – не шутки. Павел Первый умел страх наводить. Так вот, перед отъездом в Италию он подарил ей на память бриллиантовые серьги каплевидной формы.

– «Слезы Евы»! – ахнула Глафира.

– Именно. Нашлась хозяйка, представляете?

Бартенев зашелся мелким смехом.

– Ева-прародительница! Весьма подходящее имя для Елизаветы. Боже, я даже не надеялся на такую удачу!

– А как серьга могла попасть к Пушкину? Они были знакомы, я знаю... но...

– Ничего такого, не волнуйтесь. Впервые Пушкин увидел Елизавету Алексеевну на открытии лица. Мог ли он с горячей африканской кровью в анамнезе не влюбиться в эту самую блистательную красавицу? Не отвечайте, вопрос риторический. Императорская семья проводила лето в Царском Селе, а бесшабашные лицеисты частенько через забор залезали в парк, в том числе по ночам. Александр даже жаловался директору лица, что его воспитанники обо-брали все яблоки в царском саду. В ходу была легенда, что как-то летней ночью Пушкин видел купающуюся в пруду Елизавету Алексеевну.

– Я читала, что лицеистом Пушкин был все время в кого-нибудь влюблен.

– Э-э-э... Не путайте влюбленность в смертных женщин с бессмертной любовью к богине. Помните? «Я, вдохновленный Аполлоном, Елизавету втайне пел!»

– Как у Петрарки и Беатриче?

– Да! Пока еще я не знаю, как серьга императрицы могла оказаться у мальчишки-лицеиста, но допускаю, что это вполне возможно. Надо вернуться к воспоминаниям бывших лицеистов. Вдруг где-то что-то проскочит.

Но Глафира, глядя на его горевшие лихорадочным румянцем щеки и полубезумные глаза, решила, что больше потакать его капризам не будет.

– Олег Петрович, вы ужасно устали, и сегодня я уже не могу позволить вам никакой нагрузки.

– Подождите, голубушка Глафира Андреевна. Я ведь не сказал, что брошусь на поиски с низкого старта. Позвольте только закончить историю об отношениях поэта и императрицы.

– Завтра.

– Нет, сейчас.

– А лекарство за вас кто будет принимать? Пушкин?

– Умоляю, умнейшая и славнейшая Глафира Андреевна, не поминайте Александра Сергеевича всуе!

– Хорошо, не буду! Не волнуйтесь только!

– Да как же не волноваться, голубчик мой! Ведь вам самой ужасно интересно. Так?

– Так, но...

– Вы думаете, что я устаю от роли рассказчика? Отнюдь! Поверьте, так я отдыхаю!

– Только сначала переложу вас на кровать, договорились? Через час у нас массаж, будете уже готовы.

Бартенев помогал ей сильными руками, и вдвоем они благополучно переместили его на кровать.

– Помните, я давеча упомянул о Донжуанском списке Пушкина?

– Конечно. Даже в школе о нем рассказывают.

– Неужели? – поразился Бартенев. – Не знал, что эта тема включена в школьную программу. Так вот, среди женских имен в нем есть одно неназванное. Пушкин обозначил его двумя латинскими буквами «N». В разные годы исследователи доказывали, что под ними скрываются то Мария Раевская, то Наталья Кочубей. Ерунда, я считаю. Речь шла о самой главной любви поэта – Елизавете Алексеевне Романовой, жене Александра Первого. Только ее имя он не посмел назвать в длинном списке своих душевных привязанностей. И не только потому, что она была императрицей. Это женщина другого толка. Рядом с ней все остальные – просто «колхоз», как сказала однажды одна известная писательница.

– Он любил ее платонически?

– Без вариантов. Ему нужна была именно такая любовь: тайная, светлая, безнадежная, чистая. Для другой имелось много охотниц. Но не Елизавета.

– Значит, последнее письмо адресовано ей?

– Почти уверен. То есть я точно уверен, но доказать это можно будет, лишь когда мы узнаем тайну серыги. А мы ее узнаем.

– При вашем характере – не сомневаюсь.

– Кстати, знаете ли вы, хотя, конечно, не знаете... Некоторые уверены – и я в их числе, – что знаменитое «Я помню чудное мгновенье» посвящено вовсе не Анне Керн.

– Как так? Любому школьнику известно...

– Да Керн просто приняла желаемое за действительное! Она нашла стихотворение среди страниц «Евгения Онегина», стала пытать Пушкина, приставать, и ему пришлось нехотя согласиться, что написано о ней. Не мог он сказать правду, и все тут!

– Вы меня удивили! Еще одним мифом меньше.

– Зато другим больше! – засмеялся Олег Петрович, поправил подушку под головой и совсем другим тоном сказал: – Получается, он знал, что Елизавета Алексеевна не умерла в двадцать шестом году в Белеве.

– Это вы о чем?

Бартенев посмотрел на нее задумчиво.

Версии



А время между тем шло.

«Сегодня домой попаду к полуночи, и то, если повезет», – подумала Глафира, заканчивая массаж ног, и хотела вздохнуть, но удержалась.

Конечно, если бы не Мотя, которая, наверное, уже сто раз разогревала ужин, она бы слушала рассказы Бартенева до утра. Надо бы сказать Стасику, что...

А где, кстати, он?

Глафира глянула на часы и забеспокоилась еще больше.

Без четверти восемь. Уже два часа, как он должен ее сменить.

– Олег Петрович, Стас звонил?

– Нет. Господи, уже почти восемь! Что же вы молчите! Срочно звоните!

Глафира набрала номер Стаса и минут пять слушала переливы то ли японской, то ли китайской музыки.

– Алло, – наконец лениво ответили ей, – кто говорит?

– Я говорю! Мне уходить пора. Ты где?

– Черт-те где! – весело ответили ей.

– Стас, уже восемь вечера, ты собирался быть к шести.

– Ничего я не собирался. Это вы все меня собирались уморить в вашей богадельне!

«Пьян до бесчувствия, – поняла Глафира. – Ну и что мне теперь делать?»

– Что там? – тревожно спросил Олег Петрович.

– Кажется, Стас... занят.

Она решила быть дипломатичной, чтобы не портить и без того напряженные отношения между родственниками.

– Напился, – проницательно заметил Бартенев. – Ну что ж, не возьмусь его осуждать. Жизнь со мной – не сахар. Он человек молодой, охочий до удовольствий, как и все в его возрасте. Я смело могу дождаться его один.

«Только мне-то что теперь делать?» – мысленно возмутилась Глафира, а вслух сказала:

– Ничего экстраординарного не случилось. Останусь у вас до его возвращения.

– Об этом не может быть и речи! – запротестовал Бартенев. – Сейчас же отправляйтесь домой! Я отлично справлюсь и без вас!

– Ни минуты не сомневаюсь в ваших способностях, но я останусь.

– Профессиональный долг не велит? – иронично прищурился он.

– Всякий. И профессиональный тоже. Позвоню Моте и лягу на диване.

– Вот этого я и боялся!

– Чего?

– Что об этом узнает Матрена Евсеевна! Я ее боюсь до колик! Она меня за вас поедом будет есть!

– Нет, поедом – не ее стиль, – задумчиво сказала Глафира. – Она вас сожрет за один присест. Сразу, чтобы и костей не осталось.

– Боже! – панически заголосил Бартенев. – Вы шутите, а у меня в самом деле колики начались! Скорее вколите мне снотворное, чтобы я даже не слышал вашего с ней разговора!

– Лучше в коридор выйду.

– Нет, оттуда все равно слышно! Спуститесь на кухню!

Глафира усмехнулась. Вот до чего ты, Мотя, довела хорошего человека!

Стоя в коридоре, Глафира набрала номер не менее пяти раз, прежде чем ее тоже охватила паника. Что могло случиться? Где Мотя?

– Ну что там? – крикнул нетерпеливый Бартенев. – У меня еще есть шанс на помилование?

– Олег Петрович, Мотин сотовый не отвечает, – начала Глафира, появляясь на пороге комнаты.

И тут раздался звонок в дверь.

– Кто это? Стасик или?.. – со страхом спросил Бартенев.

– Что-то мне подсказывает: мы должны подготовиться к худшему, – ответила Глафира, которую кольнуло нехорошее предчувствие.

Она одернула блузку, зачем-то пригладила волосы и пошла открывать.

На пороге в позе памятника Екатерине Великой стояла Мотя, и ее вид не предвещал ничего хорошего.

– Мотя, вот ты где! А я тебе звоню, звоню! Ты куда пропала? – затараторила Глафира, пытаясь придать голосу интонацию, которая сразу бы подсказала грозной императрице: ничего страшного не произошло и произойти не может.

– Ты чего тут делаешь? Почему еще не дома? – не купившись на ее слащавый тон, начала Мотя.

– Понимаешь, Мотенька... Да ты проходи, проходи...

Глафира заискивающе улыбнулась, делая приглашающий жест.

Мотя не сдвинулась с места, только круче свела брови.

Ну все! Теперь ее может спасти только чудо!

И чудо в лице Бартенева не заставило себя ждать.

С юнкерской прытью, невесть как очутившись в прихожей, – звук лифта Глафира не слышала – он подкатил к двери и со всей возможной галантностью раскланялся перед воплощением гнева человеческого.

– Добро пожаловать, драгоценнейшая Матрена Евсеевна! – голосом шпехшталмейстера, начинающего представление, воскликнул он. – Мы так рады вас видеть, вы представить себе не можете!

Глафира сглотнула, лихорадочно прокручивая в голове варианты дальнейшего развития событий. Слишком хорошо она знала Мотю.

И тут Мотя удивила.

– Господь вас храни, господин хороший, – выдала она и поклонилась в ответ. – А я думаю, дай зайду проведать, как вы тут поживаете.

– Вашими молитвами, Матрена Евсеевна! Прошу присоединиться к нашему вечернему бдению, вынужденному, смею заметить. Видите ли, мой родственник Станислав изволит опаздывать... с работы, посему Глафира Андреевна любезно согласилась подежурить до его возвращения. Вы воспитали удивительно чуткого и ответственного человека, Матрена Евсеевна.

Последние слова профессора, кажется, подкупили Мотю. Она переступила порог и, сняв свой замечательный салоп, величественно прошествовала в кухню.

– Ну раз так, я чай заварю, – заявила она хозяйским тоном.

– Заварите, заварите! Буду премного благодарен! А то мы с Глафирой Андреевной, ей-богу, так заработались, что чаю с обеда не пивали!

Бартенев резво покатил за широко шагающей Мотей. Глафира выдохнула.

За столом, на котором возник не только чай, но и невесть откуда взявшееся рассыпчатое печенье – поди, с собой притащила, – Бартенев продолжал заливаться соловьем, пока окончательно не притомился.

– Уф! Что-то я объелся. И обпился, – заявил он, вытерев пот, и наконец замолчал.

– Олег Петрович, – воспользовавшись паузой, начала Глафира. – Что вы имели в виду, когда сказали, что Елизавета Алексеевна не умерла?

– Я имел в виду, она не умерла в тысяча восемьсот двадцать шестом году в Белеве, как гласит официальная версия.

– Да как такое может быть?

– О! Это весьма интересная и мистическая история! Если вы готовы терпеть мои занудные рассказы, могу поведать.

– А в ней про нечистую силу, богоотступников и фармазонов ничего нет? – уточнила Мотя.

– Ни слова, уверяю вас, любезнейшая Матрена Евсеевна!

– Тогда отчего ж не послушать, милостивый государь.

Глафира покосилась на нее. С чего вдруг такой шелковой стала? Что за удивительные превращения?

– Видите ли, милые дамы, – начал Бартенев, привычно входя в образ лектора за кафедрой. – Необычные обстоятельства смерти Александра Первого в тысяча восемьсот двадцать пятом году и его супруги годом позже породили множество слухов и предположений. Уже больно странно выглядела эта неожиданная поездка в Таганрог, скоропалительная кончина императора, который никакими очевидными болезнями не страдал. Кроме того, было много других странностей. Отсутствие священника при смертном одре императора, подложная, как оказалось впоследствии, подпись доктора Тарасова под протоколом вскрытия... Потом похороны два месяца спустя в закрытом гробу... Да еще и отсутствие Елизаветы Алексеевны на панихиде в Петербурге... В общем, спустя какое-то время стали говорить о том, что Александр удалился от мира и продолжает жить под именем старца Федора Кузьмича, который объявился в середине тридцатых и почил в бозе лишь в шестьдесят четвертом году в Сибири.

– Господи ты Боже мой, страсти какие, – перекрестилась Мотя.

– Это еще что! – тоном фокусника пообещал Бартенев. – Через год та же история повторилась с императрицей. Скоропостижная смерть в Тульской губернии, множество странностей, вплоть до того, что Дорофеева, хозяйка дома, где все произошло, утром увидела вместо блондинки Елизаветы тело жгучей брюнетки. А потом в Сырковом монастыре под Новгородом появилась некая Вера Молчальница, про которую сразу стали говорить, что она и есть удалившаяся от мира вслед за мужем императрица.

– Вот, значит, как, – задумчиво сказала Мотя. – Последовала, выходит, за венчанным супругом. Не захотела без него в миру оставаться...

– Именно так все и решили, – кивнул Бартенев. – Впрочем, вру – не все, конечно. Официальная версия осталась прежней: императорская чета захоронена в Петропавловской крепости в царской усыпальнице. Как положено.

– А вы сами какой версии придерживаетесь? – спросила Глафира, которая ловила каждое слово.

– Честно говоря, да сего дня занимал позицию сомневающегося. Не мог определиться.

– А сегодня что ж? – заинтересованно спросила Мотя.

– А сегодня, высокоуважаемая Матрена Евсеевна, меня лишило последних сомнений одно письмо.

– Что же за письмо такое? – продолжала допытываться она.

– Адресованное Елизавете Алексеевне и датированное тысяча восемьсот тридцать седьмым годом. А это явно говорит о том, что писавший не сомневался – она жива. Иначе к чему ей писать? Более того, он был уверен: письмо дойдет до адресата. Ведь не зря вложил в конверт сережку, которую хотел вернуть.

– Но, Олег Петрович, письма Елизавета Алексеевна так и не получила, – вступила Глафира.

– Верно, но тридцать седьмой год! Одиннадцать лет спустя после даты официальной смерти!

Бартенев помолчал, задумчиво поглаживая скатерть.

– С другой стороны, насколько я помню, Вера Молчальница умерла только в шестьдесят первом году. Что все эти годы мешало передать ей письмо? Почему оно оказалось забытым среди других бумаг, да еще укатило в Австралию? – словно самому себе сказал он и обвел взглядом слушательниц. – В любом случае, милые и почтенные дамы, история самого письма не отменяет того, что мы с вами узнали доподлинно. Пушкин не сомневался, что Елизавета Алексеевна жива, и его прощальные слова были обращены именно к ней.

– Какая любовь необыкновенная! – мечтательно произнесла Глафира.

– Любовь, достойная великого поэта, Глафира Андреевна!

– А кому же было велено письмо доставить? – вдруг спросила Мотя. – Чего же он, нерадивец, последнюю волю покойного не исполнил, маракуша этакий!

Глафира взглянула на взволнованную Мотю. Уж если начала обзывать, значит, задело за живое.

– Вдруг он вовсе не такой, Мотенька. Может, человек хотел, но не смог. Умер, например.

– Сам не смог, другому бы наказал, – не согласилась упрямая Мотя.

– Так ведь такое не каждому доверишь. То, что Елизавета Алексеевна жива, хранилось в глубокой тайне. Можно было и в тюрьму попасть.

– А с чего мы решили, что это был он, а не она? Конечно, в последние минуты рядом с Александром Сергеевичем находились его друзья, имена которых всем известны. Да, письмо нашлось среди бумаг потомков Николая Лонгинова, секретаря императрицы. Но это вовсе не означает, что поручение должен был выполнить кто-то из этих людей. Мало ли какой путь оно проделало! Лонгинов действительно был с императрицей до последнего вздоха. Но после ее официальной смерти сделал успешную карьеру при Николае Первом – я рассказывал Глафире Андреевне – и закончил свои дни действительным тайным советником. Если бы он придерживался версии, что императрица жива, ему бы никогда не дослужиться до таких высот! Если не сказать хуже!

– И все же мне кажется, Лонгинов все знал, – задумчиво сказала Глафира. – Именно поэтому и не доставил письмо адресату. Не хотел делать тайное явным, ведь если бы стало известно, что письмо дошло, слишком многие оказались бы посвящены.

– Возможно, Глафира Андреевна, возможно. Вы склонны к глубоким умозаключениям, и меня это несказанно радует, ибо в вашем лице я обрел умную помощницу.

– Не перехваливайте, Олег Петрович, ведь то, что именно Лонгинов был изначально выбран курьером, не доказано.

– Более того, – кивнув, подхватил Бартенев, – зная обстоятельства смерти Пушкина, я уверен, что такого поручения и даже просьбы он получить не мог.

– И что это значит? – спросила пытающаяся уловить нить разговора Мотя.

– Лонгинов состоял на службе у царской семьи, поэтому скандальным был сам факт обращения Пушкина к императрице, пусть и скончавшейся. Это ее компрометировало.

– Бог ты мой, да что такого-то? – возмутилась поборница справедливости. – Человек на смертном одре писал, ему Господь уже все простил!

Олег Петрович растерянно побарабанил по столу.

– Да, многое тут неясно. Однако так еще интереснее, и, главное, зацепки есть. Общеизвестно, что в судьбе Веры Молчальницы принимала деятельное участие Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, а она, между прочим, была камер-фрейлиной Елизаветы Алексеевны. Она вызволила Веру из тюрьмы и поселила в Сырковом монастыре. Было еще что-то, связанное с ней, но я уже не помню... Надо вернуться к ее биографии. И поможет нам в этом...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.